



ЗОЛОТЫЕ СТРОФЫ ВЕКА

Роберт
Рождественский



ЗА ТОБОЙ
ЧЕРЕЗ ГОДА

Роберт Иванович Рождественский
За тобой через года (сборник)
Серия «Золотые строфы века»

Текст книги предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=39832136
За тобой через года. Сборник: АСТ; Москва; 2019
ISBN 978-5-17-113133-3

Аннотация

В книге известного русского советского поэта Роберта Рождественского собраны стихи, которые посвящены близким современному читателю темам: самореализации человека, молодости и зрелости, памяти и великой войне, мужеству и трусости, непростым судьбам людей советского периода и послесоветского времени. При этом книга создает лирические портреты нескольких эпох, на которые пришлась жизнь поэта. Для лучшего понимания поэзии Рождественского в книгу включены отрывки из статьи поэта о его американских впечатлениях и заметки из записной книжки.

Содержание

Всё хочу я увидеть...	5
«Все хочу я увидеть...»	5
Начало	8
Утро	11
«Вернуться б к той черте...»	16
Сын Веры	19
Да, мальчики!	22
Юноша на площади	27
Шла война	29
«Та зима была, будто война...»	29
Баллада о молчании	31
Баллада о спасенном знамени	37
Баллада о зенитчиках	41
Баллада о красках	44
Счет	47
Это – мы!	49
«Не стоит от себя бежать...»	49
История	51
«Мы в ревущих колоннах...»	55
Парни с поднятыми воротниками	57
Человечки	61
Отрывок из поэмы «Совесть»	61
Стыдливые	62

Чаушеску	65
Стенограмма по памяти	70
Винтики	72
Сказка о кузнеце, укравшем лошадь	76
Западнее	79
Париж, Франсуазе Саган	79
Сказка с несказочным концом	85
Конец ознакомительного фрагмента.	91

Роберт Рождественский

За тобой через года

Сборник

Всё хочу я увидеть...

«Все хочу я увидеть...»

Все хочу я увидеть.
Хочу испытать,
 Все, кроме смерти,
И услышать все шепоты мира
и все его грохоты.
Но даже и то, что небесный Госплан
 отпустил мне по смете,
я честно приму.
И вместе с друзьями
потрачу до крохотки...
Все желания могут исполниться,
 кроме самого яркого —
колеса машины времени
 ржавеют — несмазаны...

А мне б
откусить
от того матросского яблочка!
А мне бы
почуять
рукопожатье товарища маузера!..
Это вовсе не кровь,
это время в жилах играет.
Пусть потом разберутся,
кто гений,
кто трус,
кто воин.

Ведь не тогда человек умирает,
когда умирает,

А тогда, когда говорит:
«Я собой доволен...»
Я собой доволен...
И можно готовить деньги,
заказывать место на кладбище
и траурный выезд...

А в соседнем сквере
кудачут хорошо одетые дети.
И не знают еще,
что им досталась эпоха —
на вырост!

Мы об этом тоже не знали.
Мы не верили, что состаримся.
И что однажды

на сердце у каждого
истина выжжется:
никогда не бывает Счастье
конечной станцией!...
...Потому-то и кружится этот мир.
Потому он
и движется.

Начало

Я родился —
некладным и длинным —
в одну из влажных ночей.
Грибные июньские ливни
звенели,
как связки ключей.
Приоткрыли огромный мир они,
зайчиками прошлись по стене.

«Ребенок
удивительно смирный...» —
врач сказал обо мне.
...А соседка достала карты,
и они сообщили,
что
буду я не слишком богатым,
но очень спокойным зато.
Не пойду ни в какие бури,
неудачи
смогу обойти
и что дальних дорог
не будет
на моем пути.
Что судьбою,
мне богом данной

(на ладони вся жизнь моя!),
познакомлюсь
с бубновой дамой,
такой же смирной,
как я...

Было дождливо и рано.

Жить сто лет
кукушка звала.

Но глупые карты
врали!

А за ними соседка
врала!

Наврала она про дорогу.

Наврала она про покой...

Карты врали!..

И слава богу,
слава людям,
что я не такой!

Что по жилам бунтует сила,
недовольство собой храня.

Слава жизни!

Большое спасибо
ей

за то, что мяла меня!

Наделила мечтой богатой,
опалила ветром сквозным,
не поверила
бабьим картам,
а поверила

ливням грибным.

Утро

Владимиру Соколову

Есть граница между ночью и утром,
между тьмою
и зыбким рассветом,
между призрачной тишию
и мудрым
ветром...

Вот осиновый лист тряется,
до прожилок за ночь промокнув.
Ждет,

когда появится солнце...

В доме стали заметней окна.
Спит,

раскинув улицы,

город,

все в нем —

от проводов антенных
до замков,

до афиш на стенах, —

все полно ожиданием:

скоро,

скоро!

скоро!! —

вы слышите? —

скоро

птицы грянут звонким обвалом,
растворяется,
сгинут туманы...

Темнота заползает

в подвалы,

в подворотни,

в пустые карманы,

наклоняется над часами,
смотрит выцветшими глазами
(ей уже не поможет это), —
и она говорит голосами
тех,

кто не переносит

света.

Говорит спокойно вначале,
а потом клоюча от гнева:

— Люди!

Что ж это

Ведь при мне вы
тоже кое-что
различали.

Шли,

с мою правдой не ссорясь,
хоть и медленно,

да осторожно...

Я темней становилась нарочно,
чтобы вас не мучила совесть,

чтобы вы не видели грязи,
чтобы вы себя
не корили...

Разве было плохо вам?

Разве
вы об этом тогда
говорили?

Разве вы тогда понимали
в беспокойных красках рассвета?
Вы за солнце

луну принимали.

Разве я
виновата в этом?

Ночь, молчи!
Все равно не перекричать
разрастающейся в полнеба зари.
Замолчи!
Будет утро тебе отвечать.
Будет утро с тобой говорить.

Ты себя оставь
для своих листецов,
а с такими советами к нам
не лезь —
человек погибает в конце концов,
если он скрывает
свою болезнь.
...Мы хотим оглядеться

и вспомнить теперь
тех,
кто песен своих не допел до утра...
Говоришь,

что грязь не видна при тебе?
Мы хотим ее видеть!

Ты слышишь?

Пора

знать,

в каких притаилась она углах,
в искаженные лица врагов взглянуть,
чтобы руки скрутить им!
Чтоб шеи свернуть!

...Зазвенели будильники на столах.
А за ними

нехотя, как всегда,
коридор наполняется скрипом дверей,
в трубах

с клекотом гулким проснулась вода.

С добрым утром!
Ты спиши еще?
Встань скорей!
Ты сегодня веселое платье надень.
Встань!
Я птицам петь для тебя велю,
Начинается день.
Начинается

день!

Я люблю это время.

Я

жизнь люблю!

«Вернуться б к той черте...»

Вернуться б к той черте,
где я был мной.

Где прилипает к пальцам
хлеб ржаной.

И снег идет.

И улица темна.

И слово «мама» —

реже, чем «война»

Желания мои скучны.

Строги.

Вся биография —

на две строки.

И в каждой строчке
холод ледяной...

Вернуться б к той черте,
где я был мной.

Вернуться бы,
вернуться б к той черте,
где плачу я в полночной духоте,
где очень близко
губы и глаза,
где обмануть нельзя,
смолчать нельзя.
Измены —
даже мысленно —

страшны.

А звездам в небе
тесно от луны.

Все небо переполнено луной...

Вернуться б к той черте,
где я был мной.

Не возвращаться б
к той черте,
когда
становится всесильной немота.

Ты бьешься об нее.

Кричишь,
хрипя.

Но остается крик внутри тебя.

А ты в поту.
Ты память
ворошишь.

Как безъязыкий колокол, дрожишь.

Никто не слышит крика твоего...

Я знаю страх.

Не будем
про него.

Вернуться б к той черте,
где я был мной.

Где все впервые:
светлый дождь грибной,
который по кустарнику бежит.
И жить легко.
И очень надо

жить!

Сын Веры

Я —

сын Веры...

Я давно не писал тебе писем,

Вера Павловна.

Унесли меня ветры,

напевали мне ветры

то нахально,

то грозно,

то жалобно.

Я — сын Веры.

О, как помогла ты мне, мама!

Мама Вера...

Ты меня на вокзалах пустых обнимала,

мама Вера.

Я —

сын Веры.

Непутевого сына

ждала обратно

мама Вера...

И просила в письмах

писать только правду

мама Вера...

Я —

сын Веры!

Веры не в бога,

не в ангелов, не в загробные штуки!

Я —

сын веры в солнце,
которое хлещет
сквозь рваные тучи!

Я —

сын веры в труд человека.
В цветы на земле обгорелой.

Я —

сын веры!
Веры в молчанье
под пыткой!
И в песню перед расстрелом!

Я —

сын веры в земную любовь,
ослепительную, как чудо.

Я —

сын веры в Завтра —
такое, какое хочу я!
И в людей,
как дорога, широких!
Откровенных.

Стоящих...

Я —

сын Веры,
презираю хлюпиков!
Ненавижу плаксивых и стонущих!..
Я пишу тебе правду,
мама Вера.

Пишу только правду...
Дел – по горло!
Прости,
я не скоро
вернусь обратно.

Да, мальчики!

Мы – виноваты.
Виноваты очень:
Не мы
с десантом
падали во мглу.

И в ту —
войной затоптанную —
осень
мы были не на фронте,
а в тылу.

На стук ночной
не вздрагивали боязно.

Не видели
ни плены,
ни тюрьмы!

Мы виноваты,
что родились поздно.
Прощенья просим:
виноваты мы.

Но вот уже
и наши судьбы
начаты.

Шаг первый сделан —
сказаны слова.

Мы начаты —

то накрепко,

то начерно.

Как песни,

как апрельская трава...

Мы входим в жизнь.

Мы презираем блеянье.

И вдруг я слышу разговор о том,
что вот, мол, подрастает поколение.

Некстати... непонятное...

Не то...

И некто —

суетливо и запальчиво, —
непостижимо злобой
увлечен,
уже кричит,

в лицо нам

тыча пальцем:

«Нет, мальчики!»

Позвольте,

он — о чем?

О чем?

Нам снисхождения не надо!

О чем?

И я оглядываю их:

строителей,

поэтов,

космонавтов —

великолепных мальчиков моих.

Не нам брюзжать,

Не нам копить обиды:
И все ж таки

во имя

всей земли:

«Да, мальчики!»

Которые с орбиты

космической

в герои

снизошли!

Да, мальчики,

веселые искатели,

отбившиеся

от холодных рук:

Я говорю об этом

не напрасно

и повторять готов

на все лады:

Да, мальчики в сухих морозах Братска!

Да, мальчики, в совхозах Кулунды!

Да,

дерзновенно

умные

очкирики —

грядущее

неслыханных наук!

Да, мальчики,

в учениях тяжелых,

окованные

строгостью

брони.

Пижоны?

Ладно.

Дело

не в пижонах.

И наше поколенье —

не они.

Пусть голосят

о непослушных детях

в клубящемся

искусственном дыму

лихие спекулянты

на идеях,

не научившиеся

ничему.

А нам смешны

пророки

неуклюжие.

Ведь им ответить сможем мы сполна.

В любом из нас клокочет революция

Единственная.

Верная.

Одна.

Да, мальчики!

Со мною рядом встаньте

над немощью

придуманной

возни.

Да, мальчики!

Работайте, мечтайте.
И ошибайтесь, —
Дьявол вас возьми!
Да, мальчики,
 выходим в путь негладкий!
Боритесь
 с ложью!
Стойте на своем!
Ведь вы не ошибаетесь
 в самом главном.
В том флаге, под которым мы живем!

1963

Юноша на площади

Он стоит перед Кремлем.

А потом,

вздохнув глубоко,

шепчет он Отцу и Богу:

«Прикажи...

И мы умрем!..»

Бдительный,

полуголодный,

молодой,

знакомый мне, —

он живет в стране свободной,

самой радостной стране!

Любит детство вспоминать.

Каждый день ему —

награда.

Знает то, что надо знать.

Ровно столько,

сколько надо.

С ходу он вступает в спор.

как-то сразу сатанея.

Даже

собственным сомненьям

он готов давать отпор.

Жить он хочет не напрасно,

он поклялся

жить в борьбе.

Все ему предельно ясно.

в этом мире

и в себе.

Проклял он

врагов народа.

Верит, что вокруг друзья.

Счастлив!..

...А ведь это я —

пятьдесят второго года.

Шла война

«Та зима была, будто война...»

Та зима была, будто война, —
лютой.

Пробуравлена,
прокалена ветром.
Снег лежал,

навалясь на январь грудой.

И кряхтели дома под его весом.
По щербатому полу мороз крался.
Кашлял новый учитель Сергей Саныч.

Застывали чернила
у нас в классе.

И контрольный диктант
отменял завуч...

Я считал,
что не зря голосит ветер,
не случайно болит по утрам горло,
потому что остались на всем свете
лишь зима и война —
из времен года!

И хлестала пурга по земле крупно,
и дрожала река в ледяном гуле.

И продышины в окнах
цвели кругло,
будто в каждую кто-то всадил
пулю!..
И надела соседка
платок вдовий.
И стонала она допоздна-поздно...

Та зима была, будто война, —
долгой.
Вспоминаю
и даже сейчас мерзну.

Баллада о молчании

Был ноябрь
по-январски угрюм и зловещ.
Над горами метель завывала.
Егерей
из дивизии «Эдельвейс»
наши
сдвинули с перевала...

Командир
поредевшую роту собрал
и сказал тяжело и спокойно:
«Час назад
меня вызвал к себе генерал.
Вот, товарищи,
дело какое:
Там – фашисты.
Позиция немцев ясна.
Укрепились надежно и мощно.
С трех сторон – пулеметы,
с четвертой – стена.
Влезть на стену
почти невозможно...
Остается надежда
на это „почти“.
Мы должны —

понимаете, братцы? —
нынче ночью
на чертову гору
вползти.

На зубах —
но до верха добраться!..»

А солдаты глядели на дальний карниз,
и один —

словно так, между прочим, —
вдруг спросил:

— Командир,
может, вы — альпинист?.. —

Тот плечами пожал:

— Да не очень...

Я родился и вырос в Рязани,
а там

горы встанут,
наверно, не скоро...

В детстве
лазал я лишь по соседским садам.
Вот и вся «альпинистская школа»...

А еще
(он сказал, как поставил печать!)
там у них —
патрули!
Это значит:
если кто-то сорвется,
он должен молчать.

До конца.

И никак не иначе...

...Как восходящие капли дождя,
как молчаливый вызов,
лезли,

наитием находя
трещинку,
выемку,
выступ.
Лезли,

почти сроднясь со стеной, —
камень
светлел под пальцами.

Пар

поднимался над каждой спиной
и становился
панцирем.

Молча

тянули наверх свои
каски,
гранаты,
судьбы.

Только дыхание слышалось

и

стон

сквозь сжатые зубы...

Дышат друзья.

Терпят друзья.
В гору

ползет молчание.

Охнуть – нельзя.

Крикнуть – нельзя.

Даже —

слова прощания.

Даже —

когда в озноб темноты,

в черную прорву

ночи,

все понимая,

рушишься ты,

напрочь

срывая

ногти!

Душу твою ослепит на миг

жалость,

что прожил мало...

Крик твой истошный,

неслышный крик

мама услышит.

Мама...

...Лезли

те,

кому повезло.

Мышцы в комок сводило, —

лезли!

(Такого

быть не могло!!

Быть не могло.

Но – было...)

Лезли,

забыв навсегда слова,

глаза напрягая

до рези...

Сколько прошло?

Час или два?

Жизнь или две?

Лезли!!

Будто на самую

крышу войны...

И вот,

почти как виденье,

из пропасти

на краю стены

молча

выросли

тени.

И так же молча —

сквозь круговерть

и колыханье мрака —

шагнули!

Была

безмолвной, как смерть,
страшная их атака!..

Через минуту

растаял чад

и грохот

короткого боя...

Давайте и мы
иногда
молчать,
об их молчании
помня.

Баллада о спасенном знамени

Утром

ярким, как лубок.

Страшным.

Долгим.

Ратным.

Был разбит

стрелковый полк.

Наш.

В бою

неравном.

Сколько полегло парней

в том бою —

не знаю.

Засыхало —

без корней —

полковое знамя.

Облака

печально шли

над затихшей битвой.

И тогда

с родной земли

встал

солдат

убитый.

Помолчал.

Погоревал.

И —

назло ожогам —

грудь свою

забинтовал

он

багровым шелком.

И подался на восток,

отчим домом

бредя.

По земле

большой, как вздох.

Медленной,

как время.

Полз

пустым березняком.

Шел

лесным овражком.

Он себя

считал

полком

в окруженье

вражьем!

Из него он

выходил

грозно и устало.

Сам себе

и командир,

и начальник штаба.

Ждал он
чата своего,
мстил
врагу
кроваво.
Спал он в поле,
и его
 знамя
 согревало...

Шли дожди.
Кружилась мгла.
Задыхалась
 буря.

Парня
пуля
не брала —

сплющивалась
пуля!

Ну, а ежели
брала
в бешенстве напрасном —
незаметной
 кровь была,

красная
на красном...

Шел он долго,
нелегко.
Шел
по пояс в росах,

опирайсь на древко,
как на веший
посох.

Баллада о зенитчиках

Как разглядеть за днями след нечеткий?
Хочу приблизить к сердцу этот след...
На батарее
были сплошь девчонки.

А старшей было
восемнадцать лет.
Лихая челка над прищуром хитрым,
бравурное презрение к войне...

В то утро танки вышли прямо к Химкам.
Те самые.

С крестами на броне...
И старшая,
действительно старея,
как от кошмара заслоняясь рукой,
скомандовала тонко:

— Батарея-а-а!
(Ой, мамочка!..

Ой, рóдная!..)

Огонь! —

И —

залп!..

И тут они заголосили,
девчоночки,
запричитали всласть.

Как будто бы вся бабья боль России
в девчонках этих вдруг отозвалась!

Кружилось небо —
снежное, рябое.

Был ветер обжигающе горяч.

Былинный плач

висел над полем боя,
он был слышней разрывов — этот плач!

Ему —
протяжному —

земля внимала,
остановясь на смертном рубеже.

— Ой, мамочка!..
— Ой, страшно мне!..
— Ой, мама!.. —
И снова:
— Батарея-а-а!..

...И уже
пред ними,
посреди земного шара,
левее безымянного бугра
горели неправдоподобно жарко
четыре черных танковых костра!
Раскатывалось эхо над полями,
бой

медленно кровью истекал...
Зенитчицы кричали и стреляли,
размазывая слезы по щекам.

и падали.
И поднимались снова.
Впервые защищая наяву
и честь свою
(в буквальном смысле слова!).
И Родину.
И маму.
И Москву.
Весенние пружинящие ветки.
Торжественность венчального стола.
Неслышанное:
«Ты моя – навеки!..»
Несказанное:
«Я тебя ждала...»
И губы мужа. И его ладони.
Смешное бормотание во сне.

И то, чтобы закричать в родильном доме:
– Ой, мамочка!

Ой, мама, страшно мне! —
И ласточку.
И дождик над Арбатом.
И ощущенье полной тишины...
Пришло к ним это после.
В сорок пятом.
Конечно, к тем, кто сам пришел с войны.

Баллада о красках

Был он рыжим,
как из рыжиков раиу.
Рыжим, словно апельсины на снегу.
Мать шутила,
мать веселою была:
«Я от солнышка
сыночка родила...»
А другой был черным-черным у нее.
Черным, будто обгоревшее смолье.
Хохотала над расспросами она,
говорила:
«Слишком ночь была черна!..»

В сорок первом,
в сорок памятном году
прокричали репродукторы беду.
Оба сына,
оба-двоое,
соль Земли —
поклонились маме в пояс
и ушли...
Довелось в бою почутять молодым
рыжий бешеный огонь
и черный дым,
злую зелень застоявшихся полей,

Серый цвет прифронтовых госпиталей.
Оба сына,
оба-двоев,
два крыла,
воевали до Победы.
Мать ждала.
Не гневила,
не кляла она судьбу.
Похоронка обошла ее избу.
Повезло ей,
привалило счастье вдруг.
Повезло одной на три села вокруг.

Повезло ей,
повезло ей,
повезло! —
Оба сына воротилися в село.
Оба сына,
оба-двоев,
плоть и стать.
Золотистых орденов не сосчитать.
Сыновья сидят рядком — к плечу плечо.
Ноги целы, руки целы — что еще?
Пьют зеленое вино, как повелось...
У обоих изменился цвет волос.
Стали волосы —
смертельной белизны!..

...Видно, много

белой краски у войны.

Счет

Сначала

ровно тысячу дней,
потом еще четыреста дней,
а после еще

восемнадцать дней
(так подсчитано)
шла война.

Невозможно было привыкнуть к ней,
невозможно было не думать о ней.

Благословляла,
крестила, казнила
и миловала она.

И тот,

чья юность осталась в ней,
кто сегодня не может забыть о ней,
говорит о ней
и молчит о ней
в окружении внуков,

лекарств
и седин,

мечтает прожить еще тысячу дней,
потом еще четыреста дней,
потом еще восемнадцать дней.

А после —

хотя бы еще один.

Это — мы!

«Не стоит от себя бежать...»

Не стоит
от себя бежать,
глаза потупив...
Поступки
надо совершать!
Одни поступки!

Поступок —
в трусе разбудить
замах героя.
Поступок —
живь,
не затвердив
чужие роли.
Поступок —
быть собой
в дыму
и клятве пылкой.
Поступок —
вопреки всему
молчать под пыткой!

Поступок —

много долгих дней
гореть,
а после
порвать поэму,
если в ней
хоть капля
позы.

Прикажет время зубы сжать —
не протестуйте.

Поступки
надо совершать!

Одни поступки!
И кровь твоя
через ничто,
дымясь,
проступит...

Ведь если жизнь — поступок,
то
и смерть —
поступок.

История

История!

Пусть я —

наивный мальчик.

Я верил слишком долго,

слишком искренне,

что ты —

точнее

всяких математик,
бесспорней

самой тривиальной

истины...

Но что поделать, —

мальчики стареют.

Твои ветра

по лицам их секут...

Секунды предъявляют счет столетьям!

Я говорю от имени

секунд...

История —

прекрасная, как зарево!

История —

проклятая, как нищенство!

Людей преображающая заново

и отступающая
перед низостью.

История —
прямая и нелепая!

Как часто называлась ты —
припомн! —

плохой,
когда была
великолепною!

Хорошой —
хоть была
постыдно
подлой!

Как ты зависела
от вкусов мелочных.

От суеты.
От тупости души.
Как ты боялась властелинов,
мерящих
тебя на свой
придуманный аршин!

Тобой клянясь,
народы одурманивали.
Тобою прикрываясь,
земли
грабили!
Тебя подпудривали.
И поддумянивали.

И перекрашивали!
И перекраивали!
Ты наполнялась
криками истошными
и в великаны
возводила
хилых...

История!
Веселая
история!
Послушай!
Ты ж не просто
пыль архивов!
История!..
Сожми сухие пальцы.
Живое сердце
людям отвори.
Смотри,
как по-хозяйски
просыпаются
бессмертные создатели твои!
Они проглатывают
немудреный завтрак.
Торопятся.
Целуют жен своих.
Они
уходят!
И зеленый запах

взволнованно окутывает их.

Им солнце бьет в глаза.

Гудки

аукают.

Плывет из труб

невозмутимый дым...

Ты станешь

самой точною

наукою!

Ты станешь.

Ты должна.

Мы

так

хотим.

1963

«Мы в ревущих колоннах...»

Мы
в ревущих колоннах,
как в газетных
колонках.

Однозначные
буквы
от Амура
до Буга.
По-крестьянски
корявы,
по-боярски
нарядны —
станем рядом,
и сразу
образуется
фраза!

Та, что с громом
на равных.

Та, что мир
осветила.

Это — мы!
От заглавных
до слепого
петита.

Продолженье сказаний

на ветру
ошелелом...
Кто нас пишет?
Мы сами!
Чем нас пишут?
Железом!
Сквозь разводы подпалин
мы, как пот,
проступаем.
И Гераклы.
И Будды.
И бессмертье.
И злоба...

Мы в Истории —
буквы.
Лишь немногие —
слово.

Парни с поднятыми воротниками

Парни

с поднятыми воротниками,
в куртках кожаных,
в брюках-джинсах.

Ох, какими словами
вас ругают!

И все время удивляются:
живы?!

О проблеме вашей
спорят журнальчики —
предлагают убеждать,
разъяснять...

Ничего про это дело
вы

не знаете.

Да и в общем-то
не хотите
знать...

Равнодушно

меняются

столицы —
я немало повидал их, —
и везде,
посреди любой столицы

вы

стоите

будто памятник
обманутой мечте.

Манекенами

к витринам приникшие,
каждый вечер —
роверяй по часам —
вы уже примелькались всем,
как нищие.

Что

подать вам?

Я не знаю сам.

Завлекают вас

ковбоями и твистами, —
вам давно уже
поднадоел твист.

Вы

покуриваете
и посвистываете,
независимый делаете вид.

Может,

девочек ждете?

Да навряд ли!

Вон их сколько —

целые стада.

Ходят около —

юные,

нарядные...

Так чего ж вы ожидаете тогда?!.
Я не знаю – почему,
но мне
кажется:
вы попали
в нечестную
игру.

Вам история назначила —
каждому —
по свиданию
на этом углу.

Обещала показать
самое гордое —
мир
без позолоченного зла!

Наврала,
наговорила
с три короба.

А на эти свиданья
не пришла...

Идиотская,
неумная шутка!

Но история
думает
свое...

И с тех пор
неторопливо и жутко
все вы ждете,

все ждет

ее.

Вдруг покажется,

вдруг покается,

вдруг избавит

от запойной тоски!..

Вы стоите на углу,

покачиваясь,

вызывающе подняв воротники...

А она проходит мимо —

история, —

раздавая

трехгромовые истины...

Вы постойте,

парни.

Постойте!

Может быть,

чего-нибудь

и выстоите.

Человечки

Отрывок из поэмы «Совесть»

... В девятьсот семнадцатом родился,
Не участвовал и не судился,
В оккупации не находился,
Не работал, не был, не умею,
Никаких знакомых не имею.
Родственников за границей нету,
Сорок три вопроса и ответа,
Сорок три вопроса и ответа —
Просто идеальная анкета.

...

Одного вопроса нет в анкете.
Нет того, что в сердце нам стучится,
Ханжескому пафосу противясь,
А когда ты думать разучился,
Несгибаемый, как пень, партиец?
Твердым шагом проходил в президиум,
Каялся, когда кричали: «Кайся!»
И не падал, и не спотыкался,
Потому что кто ж споткнется сидя...

Стыдливые

С вашей кожей —
как ни старается —
ни один загар
не может справиться.
Потому что кожа ваша
нежная, —
профессионально краснеющая...
Тихо от всего отстраняется
(совестно прослыть вдруг
настырными).
Вы ведь не боитесь,
вы
стесняетесь.
Вам ведь не страшно,
вам —
стыдно.
Стыдно
защитить слабого,
мнение иметь
совестно,
стыдно не хвалить
тщеславного,
неудобно с подлецом
ссориться.
Совестно сказать глупому,

что он глуп!

Что это —

надолго!

Стыдно в драку лезть

крупную,

а в мелкую —

совсем неудобно...

Бедные,

как вы только терпите?!

Сколько в вас

святой терпеливости!..

Из стыдливости

плохого вы не делаете.

И хорошего тоже —

из стыдливости.

Вы живете,

вы извиняетесь,

улыбаетесь печально и пустынно...

Нет,

вы не боитесь,

вы

стесняетесь.

Вам ведь не страшно,

вам —

стыдно.

Добрые,

других не укоряющие,

милые,

стеснительные вечно,
удобные,
со стыда сгорающие,
люди-людишки.
Человечки.

Чаушеску *(Отрывки из блокнота)*

Представители румынского Союза писателей, по приглашению которого мы приехали в страну, вручив моей жене большой букет цветов, довольно быстро и даже как-то суетливо простились с нами, предупредив, однако, что «мы еще обязательно встретимся».

А советник нашего Посольства по культуре сказал:

– Знаете, номер в отеле вам заказан и никуда не денется, а время сейчас – обеденное. И я предлагаю побывать здесь. Тем более что в десяти минутах езды от аэродрома находится не самый плохой в Румынии ресторан!.. Ну как, согласны?..

Когда мы шли от машины к ресторану, советник тихо произнес: «Извините, на всякий случай я хочу вас предупредить: всех советских здесь очень любят прослушивать. Ну очень любят...»

А потом мы сели на прохладной террасе пустого ресторана, что-то заказали, и начался обычный в таких случаях разговор. Что в Союзе?.. Что в Москве?.. Какие новости?.. Как погода?..

Разговор был абсолютно нормальным и свободным...

И тут я ни с того ни с сего спросил: «Скажите, а правда, что на последнем партийном съезде жену Николае Чаушеску тоже выбрали членом Политбюро?.. Как это понять? И что

об этом говорят в народе?..»

Я задал вопрос и похолодел, вдруг поняв, что невольно «подставляю» молодого дипломата, фактически провоцирую его...

Однако в глазах советника забегали смешливые огоньки, и он, секунду помолчав, переспросил:

– Значит, Вам интересно, что по этому поводу говорят в народе?..

– Да, – обреченно подтвердил я...

– Ну, что ж... С удовольствием отвечу!...

«В этом государстве мы наблюдаем редкостный, прямо-таки удивительный феномен: в каждом народе, в каждой стране существуют отдельные талантливые – и даже гениальные – люди... Это – обычное дело...

А в Румынии талантливой (и даже гениальной) оказалась вся семья Чаушеску! Представляете? Вся семья. Целиком.

Судите сами: Николае Чаушеску – Президент страны и Генеральный секретарь партии...

Его жена – Президент Академии наук и член Политбюро...

Сын – Первый секретарь ЦК комсомола...

Невестка – Председатель пионерской организации...

Один брат – Первый заместитель Министра обороны, другой – заместитель Министра Госбезопасности... Ну и так далее, и так далее...

Причем каждый из членов этой семьи является настоящим специалистом широчайшего профиля, не

щадит себя, честно служит своему государству и народу, работает по двадцать часов в сутки... Поэтому их все так любят, поэтому их так берегут!..»

Советник говорил громко, четко и вдохновенно, а глаза его смеялись, глаза его прямо-таки хохотали!..

Потом он сказал: «Знаете, на этот Ваш вопрос я могу отвечать долго и подробно, но давайте продолжим разговор, когда встретимся в Посольстве. Тем более что многое Вы сами очень скоро увидите и поймете...»

Мы прилетели в город Тулча, устроились в гостинице и сразу же вышли из нее. Хотелось просто побродить, посмотреть город. Однако навстречу нам сразу же стали попадаться люди сплошь одетые в национальные костюмы, причем их становилось все больше и больше...

– Это что – фольклорный праздник? – спросил я у Димитру.

– Не знаю. Бряд ли... – ответил он. – А давайте пойдем и посмотрим, в чем дело...

Мы направились к набережной, которая была – вся! – в пестрых, красочных костюмах. Можно сказать, что одни мы были в «штатском». И одни мы молчали.

А все вокруг – и взрослые, и дети – непрерывно пели и танцевали. Громко звучала музыка (я даже узнал переницу, знакомую еще с Московского молодежного фестиваля). Какие-то особые группы людей что-то беспрерывно кричали, причем фразы были явно рифмованные!..

- Что они скандируют? Стихи?..
- Да, стихи. Точнее: почти стихи...
- О чем?..
- Не «о чем», а о ком... Люди славят Президента... Сейчас у нас это делается в рифму...
- А у него что, день рождения?..
- Нет, тут наверняка другое... Правда, я и сам до конца не понимаю... Впрочем, дело, кажется, проясняется: посмотрите туда!..

Над дунайским рукавом к набережной шли два белых вертолета.

Толпа взревела от восторга!..

Дверца первого вертолета открылась, и на бетонную площадку выпрыгнул гигантский черный даг. Он излучал надменную пружинистую силу и был дьявольски красив! А еще он блестел так, что походил на большой концертный рояль...

За этим роялем из вертолета выскоцилзнул седой, знакомый по портретам, человечек. Он сразу же «сделал народу ручкой» и быстро направился к двухпалубной яхте, стоящей у берега.

«Ча-у-шес-ку-у-у! Ча-у-шес-ку-у!!..» – завопила толпа...

Яхта почти мгновенно отвалила от пристани.

А за яхтой, урча, последовал невесть откуда появившийся большой бронекатер, ощеренный пулеметами, автоматическими пушками и даже – зенитными ракетами...

И вдруг стало тихо.

Стало тихо так, будто кто-то в эту самую секунду взял и выключил звук. Напрочь. Навсегда...

Люди расходились буднично и деловито. Они сворачивали знамена и транспаранты.

Незабываемая встреча с любимым Президентом благополучно завершилась.

Стенограмма по памяти

«...Мы идем, несмотря на любые наветы!..»
(апплодисменты).

«...все заметнее будущего приметы!..»
(апплодисменты).

«...огромнейшая экономия сметы!..»
(апплодисменты).

«...А врагов народа – к собачьей смерти!!..»
(апплодисменты).

«...как городские, так и сельские жители!..»
(бурные, продолжительные).

«...приняв указания руководящие!..»
(бурные, переходящие).

«...что весь наш народ в едином порыве!..»
(апплодисменты).

Чай в перерыве...

«...от души поздравляем Родного-Родимого!..»
(ovation).

Помню, как сам аплодировал.

«...что счастливы и народы, и нации!..»
(ovation).

«...и в колоннах праздничной демонстрации!..»
(ovation).

«...что построено общество новой формации!..»
(ovation).

«...и сегодня жизнь веселей, чем вчера!..»

(ovationi, kriki: «Ura!»).

«...нашим прадедам это не снилось даже!!..»

(все встают).

...И не знают, что делать дальше.

Винтики

Время

в символах разобраться!

Люди – винтики.

Люди – винтики...

Сам я винтиком был.

Старался!

Был безропотным.

Еле видимым.

Мне всю жизнь

за это расплачиваться!

Мне себя, как пружину,

раскручивать!

Верить веку.

И с вами

раскланиваться,

Люди-винтики,

Люди-шурупчики.

Предначертаны

ваши шляхи,

назначение каждому

выдано.

И не шляпы на вас,

а шляпки.

Шляпки винтиков,

Шляпки

винтиков!

Вы изнашивайтесь,
вы ржавейте,
исполняйте
все, что вам задано.

И в свою исключительность
верьте!

Впрочем,
это не обязательно.

Все равно обломают отчаянных!

Все равно вы должны остаться
там, где ввинят,—
в примусе,
в часиках,

в кране,
в крышке от унитаза.

Установлено так,

Положено.

И —

не будем на эту тему...

Славься,
винтичная психология!

Царствуй, лозунг:

«Не наше дело!»

Пусть звучит он
как откровение!

Пусть дороги
зовут напрасно!..

Я

не верю, —
хоть жгите, —
не верю

в бессловесный
винтичный разум!

Я смирению
не завидую,
но, эпоху
понять пытаясь, —
я не верю,

что это винтики
с грозным космосом
побратались.

Что они
седеют над формулами
и детей пеленают бережно.

Перед чуткими
микрофонами
говорят с планетою бешеноей.
И машины ведут удивительные.
И влюбляются безутешно...

Я не верю,
что это винтики
на плечах
нашу землю держат!..
Посредине двадцатого века
облетают
ржавые символы...

Будьте счастливы,

Человеки!

Люди

умные.

Люди

сильные.

Сказка о кузнеце, укравшем лошадь

Был кузнец непьющим.
Ел, что Бог предложит.
То ли от безумия, то ли от забот
он украл однажды у соседа лошадь.
Кузнеца поймали.
И собрали сход...

Дали слово старцу.
Распростер он руки.
Покатились слезы из-под дряблых век:
«Люди!
Я заплакал от стыда и муки!..
Вор
 у нас в деревне!
Мерзкий человек!..
Мне стоять с ним больно.
Мне дышать – противно!
Пусть не станет вора на святой земле!..»

Зашептались люди.
В общем, выходило:
кузнецу придется кончить жизнь в петле...
И тогда поднялся старец
 (очень древний!)
От волненья вздрагивал седины венец.

Он сказал:

«Подумаем, жители деревни!..

Что украли?

Лошадь.

Кто украл?

Кузнец!!

Он у нас – единственный!

Нужный в нашей жизни.

Без него – погибель!

Бог ему судья...

Мы,

повесив вора, кузнеца лишимся!

Выйдет, что накажем

мы самих себя!

Вдумайтесь!..»

И люди снова зашептались.

Спорам и сомненьям не было конца...

И тогда поднялся самый главный Старец:

«Правильно!

Не надо вешать кузнеца!..

Пусть за свой проступок он заплатит деньги!..

А поскольку этот разговор возник, —

есть у нас два бондаря.

Двое!

И – бездельники!..

Лучше мы повесим одного из них...»

Умные селяне под домам расходятся.

Курят.

Возвращаются к мирному труду...

Кузнецом единственным
быть мне очень хочется!

Если ненароком
лошадь
украду.

Западнее

Париж, Франсуазе Саган

Пишу вам по праву ровесника,
уважаемая Франсуаза...

Возможно,
вздохнув невесело,
письмо вы поймете не сразу.
То,

над чем вы горюете,
вы знаете лучше всего...

Ходят по улицам

люди
возраста моего.

В Лондоне и в Париже
замашки у них одни.

Свое поколение

лишним
всерьез
называют они.

Они вас считают
знаменем
неверия и порока.

Они вас считают

снадобьем

и даже чуть-чуть

пророком.

Пророки обычно безжалостны,

но я не под богом

рос...

Ответьте, пророк, пожалуйста,

на очень несторонний

вопрос:

кому вы

все ж таки

лишние,

парни,

нарочно небрежные?

Девчонки,

модно подстриженные,

не слишком гордые,

грешные?

Зачем ваши души

выданы

в липкие лапы молвы?

Кому это все ж таки

выгодно,

чтоб лишними

были вы?

Чтоб вы обо всем

забывали?

Чтоб жизнь вам казалась

тесною?

Чтоб вы

вином запивали

песню,

лишь с виду дерзкую:

«Мы

лишние.

Мы неуемные.

Нас понимает

любой!

Политики

не признаем мы,

а признаем любовь!

Рабы

разгулявшейся плоти,

мы —

лишнее поколение —

унылое чувство

локтя

сменили

на чувство колена.

Мы лишние,

лишние,

лишние!

Лишние нощно и денно!..»

Конечно,

все это —

личное,

личное ваше дело...

Но вот

к небрежному парню
неумолимо и веско
однажды —

для вящей памяти —
ляжет на стол
повестка.

«Я лишний...

Не надо!

Я лишний...

С политикой я не знаком».

Но рявкнет фельдфебель рыжий:

— Прр-р-рямо-о!

Бегом!! —

А через пару суток
в очень серьезный день
парню
дадут подсумок,
в котором —

сорок смертей.

Потом поведут —

погонят
(он будет не лишним
в строю!).

И пуля его уколет
в Африке,
в первом бою...
Над высуненной гвоздикой

прошебаршиг гром.
И на песок
тихий
тихо
вытечет кровь.
Станет сердце
неслышным.
Небо застынет в глазах...
«Не надо...
Ведь я же
лишний...» —
успеет парень
сказать.
Но будет
грохотом танка
в землю
вдавлена фраза!
И все оборвется...
Так-то,
уважаемая Франсуаза.

А где-то
в своем Париже,
которого не повторить,
станет девчонка стриженая
лишние слезы
лить.
Лишними станут подруги,
лишним покажется март,

лишними станут руки,
привыкшие обнимать.
Будет войной зачеркнут
ее молчаливый Жан...

Мне жалко
эту девчонку.

Мне этого парня
жалъ.

Небрежного,
лишнего парня,
которому нравится бокс.
Который в своей компании —
по общему мнению —
бог.

Он говорит медлительно,
он знает

новинки джаза.

Он очень не любит политики.

Он верит вам,
Франсуаза.

Сказка с несказочным концом

Страна была до того малюсенькой,
что, когда проводился военный парад,
армия

маршировала на месте
от начала парада
и до конца.

Ибо, если подать другую команду, —

не «на месте шагом...»,
а «шагом вперед...»,
очень просто могла бы начаться война,
Первый шаг
был бы шагом через границу.

Страна была до того малюсенькой,
что, когда чихал знаменитый булочник
(знаменитый тем,

что он был единственным
булочником
в этой стране), —

так вот, когда он чихал троекратно,
булочники из соседних стран
говорили вежливо:

«Будьте здоровы!..»

И ладонью
стирали брызги со щек.

Страна была до того малюсенькой,
что весь ее общественный транспорт
состоял из автобуса без мотора.
Этот самый автобус —
денно и нощно,
сверкая никелем, лаком и хромом,
опершись на прочный гранитный фундамент
перегораживал
Главную улицу.

И тот,

 кто хотел проехать в автобусе,
входил, как положено,
с задней площадки,
брал билеты,
садился в удобное кресло
и,

 посидев в нем минут пятнадцать, —
вставал
и вместе с толпой пассажиров
выходил с передней площадки —
 довольный —
уже на другом конце государства.

Страна была до того малюсенькой,
что, когда проводились соревнования
по легкой атлетике,
 все спортсмены
соревновались

(как сговорившись!)

в одном лишь виде:

прыжках в высоту.

Другие виды не развивались.

Ибо даже дистанция стометровки
пересекалась почти посредине
чертой

Государственнейшей границы,

На этой черте

с обеих сторон

стояли будочки полицейских.

И спортсмен,

добежав до знакомой черты,

останавливался,

предъявлял свой паспорт.

Брал визу на выезд.

Визу на въезд.

А потом он мучительно препирался
с полицейским соседнего государства,
который требовал прежде всего
список

участников соревнований —

(вдруг ты — хиппи, а не спортсмен!).

Потом этот список переводили
на звучный язык соседней страны,
снимали у всех отпечатки пальцев
и —

предлагали следовать дальше.

Так и заканчивалась стометровка.

Иногда —
представьте! —
с новым рекордом.

Страна была до того малюсенькой,
что жители этой скромной державы
разводили только домашнюю птицу
и не очень крупный рогатый скот
(так возвыщенно
я называю
баранов).

Что касается более крупных зверей,
то единственная в государстве корова
перед тем, как подохнуть,

успела сожрать
всю траву
на единственной здешней лужайке,
всю листву
на обоих деревьях страны,
все цветы без остатка

(подумать страшно!)
на единственной клумбе
у дома Премьера.

Это было еще в позапрошлом году.
До сих пор весь народ говорит с содроганьем
о мычании
этой голодной коровы.

Страна была до того малюсенькой,

что, когда семья садилась за стол
и суп
оказывался недосоленным,
глава семьи звонил в Министерство
Иностранных Дел и Внешней Торговли.
Ибо угол стола,

где стояла солонка,
был уже совершенно чужой территорией
со своей конституцией и сводом законов
(достаточно строгих, кстати сказать).

И об этом все в государстве знали.
Потому что однажды хозяин семьи
(не этой,

а той, что живет по соседству)
руку свою протянул за солонкой,
и рука была
арестована
тут же!

Ее посадили на хлеб и воду,
а после организовали процесс —
шумный,

торжественный,
принципиальный —
с продажей дешевых входных билетов,
с присутствием очень влиятельных лиц.

Правую руку главы семьи
приговорили,
во-первых — к штрафу,
во-вторых

(условно) —
к году тюремы...
В результате

несчастный глава семейства
оказался в двусмысленном положенье:
целый год он после —
одною левой —
отрабатывал штраф
и кормил семью.

Страна была до того малосенькой,
что ее музыканты

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочтите эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.